ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

АПРЕЛЬ 2018 г. ● № 4 (258) ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Издается редакцией и Союзом писателей России

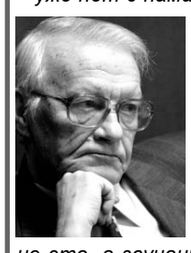
Леонид Иванович Бородин (14.04.1938 – 24.11.2011). К 80-летию со дня рождения

Леонид БОРОДИН – Владимир БОНДАРЕНКО

"СЧИТАЮ СЕБЯ РУСИСТОМ"

К 80-летию со дня рождения Леонида Бородина

Леониду Ивановичу Бородину 14 апреля исполнилось бы 80 лет. Но с 24 ноября 2011 года этого замечательного человека – мыслителя, писателя и общественного деятеля – уже нет с нами на этой грешной земле. Он пребывает в иных ипостасях...



В архиве "Дня литературы" сохранилась запись беседы главного редактора Владимира Бондаренко с Леонидом Бородиным. Беседы, состоявшейся ровно 16 лет тому назад. Странно, но практически всё, что обсуждалось в этом диалоге, актуально и для русской литературы, и для нашего государства по сей день. Темы, поднятые в нём, – не устарели. Но главное здесь даже не это, а звучание живого голоса Леонида Бородина, биение его светлого совестливого сердца.

В.Б.: *Как ты думаешь, что входит в понятие "русская национальная литература"? И что не может входить в это понятие?*

Л.Б.: Вся наша классика – это и есть русская национальная литература. В том числе и наши нигилисты, и тот же Чернышевский. Мне Чернышевский не нравится, кажется скучным. Но это – русская литература. Так же, как и "Мать" Максима Горького. Такие книги можно ругать, критиковать, пенять за малохудожественность, но тем не менее всё это тоже русская литература. Я не в восторге от Салтыкова-Щедрина, но и он – классик русской литературы.

– Тогда и Барков – тоже русская литература…

– Нет, по уровню Барков – уже не литература. Это окололитературное явление, ближе к графоманству.

– Кто из писателей повлиял на тебя?

– Два разных больших писателя. Фолкнер и Лихоносов. Совершенно необъяснимо. Почитав Фолкнера, сразу начинал писать под Фолкнера. Если сейчас посмотреть внимательно на "Третью правду", увидишь, что первые страницы – чистый Фолкнер. Перед этим я кончил читать его "Город" и стал автоматически писать в его интонации. То же самое после чтения Виктора Лихоносова. Я тогда работал над "Годом чуда и печали" и вовремя спохватился. Забросил написанное и взялся заново. Необъяснимо, почему на меня так влияют эти два писателя. Их мне просто нельзя читать, когда я что-то пишу. Хотя залыгинский и распутинский язык не слабее, чем язык Лихоносова, но они меня так не завораживают. Был ещё случай, когда я уже напечатал "Женщину и море", абсолютно не думая о Лермонтове. После школы "Тамань" ни разу не перечитывал. Видимо, что-то лермонтовское так запало, что я написал свой, как нынче говорят, ремейк. После публикации в "Юности" звонит мне приятель и говорит: "Здорово ты в "Тамань" врезался!". Помню, я аж в трубку покраснел. Действительно, такая параллель во всём. Видимо, какое-то лермонтовское влияние есть.

– Думаю, романтизм в тебе сидит изначально, поэтому на твой характер так легко легли и Лермонтов, и Джек Лондон, и даже "Овод" Войнич… Всё одно к одному: ты по жизни воинственный романтик, и потому в чём-то жизнь была предопределена. Не было бы лагерей, было бы что-то другое, и обязательно с выходом на литературу…

– Это, конечно, так. Безусловно, я воспитан на романтической, в том числе на западной литературе. Когда мы с женой уходили в тайгу, я с собой взял томик Гегеля, три тома Джека Лондона и свои конспекты по философии русского Серебряного века.

– Закончился XX век, можно подводить его итоги. Можешь ли ты сказать, что такое литература XX века? На мой взгляд, в целом она никак не ниже века предыдущего. Горький, Шолохов, Платонов, Булгаков, Блок, Гумилёв, Есенин, Твардовский… Несмотря на все войны и трагедии, революции, а может быть, и благодаря им, в литературе было очень много яркого.

– Я тебе, Володя, отвечу по аналогии. Однажды мы с Ильёй Глазуновым рассматривали советскую картину "Праздник урожая". Я стоял и хихикал, а Илья мне говорит: "Ты посмотри, как у этой бабушки рука выписана! Кто сейчас из современных мазил сумеет так руку нарисовать? Она же живая". Вот такой контраст – заказная, казённая работа и высочайшее качество письма. Первое достоинство советской литературы – это то, что в лице лучших талантливых представителей она сохранила русский язык. Греша против правды, умалчивая о многом, сохранила высочайший стилистический уровень. Это, может быть, самое главное её достижение. А сравнение с литературой XIX века мне кажется некорректным. Русская литература жива. У меня стол журнала "Москва" ломится от хорошей прозы. И это русская проза. Пусть не Толстой, не Чехов, но будущее покажет. Я сейчас ощущаю медленный, но подъём русской литературы. Лет шесть назад было гораздо хуже: или сумбур авангардистский, или кирпичи от советского времени, не принятые цензурой по пустякам. Мол, вот меня коммунисты не печатали, а вы тоже печатать не стали. А сейчас масса молодых имён. Вячеслав Дёгтев сегодня превзошёл многих наших маститых рассказчиков. Олег Павлов, Алексей Варламов, Михаил Лайков, Александр Давыдов. В Саранске, в Иркутске, в Смоленске, в Оренбурге. Не знаю, как будет с экономикой, но с литературой всё в порядке. Сейчас прислал отличную повесть Пётр Краснов из Оренбурга.

– Ты сказал что литература в XX веке сохранила свой уровень. Ты мог бы назвать лучших писателей XX века? Обычно говорят: Шолохов, Платонов, Булгаков, Леонов, дальше, минуя двадцатилетний период, добавляют Солженицына и мастеров деревенской прозы. Может, у тебя есть свой список?

– Боюсь, что нет. Булгакова я принимаю не целиком. "Мастер и Маргарита" я читал с интересом, ибо ересь всегда интереснее догмата. Она увлекательнее. Но в сознании моём даже во время чтения возникал протест. Недопустимо покушение на святыни. Читал и боялся за Булгакова, что он вообще свалится в пропасть. К счастью, он какую-то важнейшую грань не переступил. Я приветствовал Чингиза Айтматова, когда он писал о Христе, но приветствовал потому, что это писал человек другой веры. Там тоже господствует ренановский вариант Христа, но мне было интересно: надо же – со стороны, из других народов и вер писатель пишет о Христе!.. Я с интересом читал ранних Леонова и Эренбурга. О "Русском лесе" у меня осталось неплохое впечатление. Я советскую литературу знал очень хорошо. Читал всё. У Фадеева "Разгром" никогда не нравился. Это обличение гнилого интеллигента мне было чуждо. Ну, а "Молодая гвардия" – это просто часть моей жизни. Впервые я прочитал о Краснодоне книгу двух журналистов "Сердца смелых", мне было всего шесть лет, я был тогда в детском доме. Нам читали книжку вслух, а потом я сам перечитывал. Когда вышла фадеевская "Молодая гвардия", я уже всё это знал. Тем более читал взахлёб и первый вариант, и поздний, исправленный. Конечно, то, что Фадееву Иосиф Виссарионович посоветовал, я воспринимал с иронией, но имена для меня так и остались на всю жизнь, как герои. Я и сейчас могу назвать половину из молодогвардейцев – до полусотни – по именам. У меня мечта была – попасть в музей Краснодона, но так и не довелось…

– А как ты оказался в детдоме?

– Случайно. У меня мама работала в детдоме, но раскопали что-то из её биографии – и уволили. Она год батрачила на какого-то колхозника, свиней кормила. Потом за неё заступились, она в 1945 году уже вернулась в детдом, даже работала завучем. И отчим мой в том же 1945 году перешёл работать в детдом… Отчим мне был как отец, у нас были самые замечательные отношения. Он орловский мужик, окончил учительские курсы, потом работал директором школы. Бабушка тоже была учительницей.

– Из тебя хороший учитель вышел бы… Такая династия.

– Я и был учителем, даже директором школы. А сейчас у меня дочка – учитель, четвёртое поколение учителей.

– А что случилось с отцом? За что он был репрессирован?

– Мой отец – литовец. Он был командиром партизанской роты во время литовско-польской войны, вступил в конфликт со своим начальством, ему посоветовали скрыться в России на короткое время, иначе его могли и убить. А ему всего 24 года было. Он бежал сначала в Латвию, оттуда в Россию, его на границе и взяли, отправили на Соловки. Отсидел, был сослан в Сибирь, работал в областной иркутской библиотеке и в числе разоблачённой троцкистской группы был вновь арестован, получил десять лет, потом – снова пересуд и расстрел. Его расстреляли в 1939 году. Ни к каким политическим партиям он не принадлежал.

– А к какой политической партии мечтал принадлежать ты? Что за государство вы с вашей ВСХСНовской организацией хотели построить?

– Сейчас в России уже опубликованы все наши документы, в том числе и программа. Это должен был быть переходный вариант от советской империи к российской империи. Не монархия, потому что все мы понимали: народ к монархии не готов, но достаточно жёсткий государственный строй. Как говорил и Александр Солженицын позднее: в случае краха коммунизма Россия должна побыть в авторитарном режиме, чтобы не развалиться. В целом наша программа сводима к трём тезисам: христианизация экономики, христианизация политики, христианизация культуры. Это не создание теократического государства, а ориентация, направление поисков. В нашем верховном органе предполагалась одна треть священников, и они имеют право вето. Любой закон должен быть удостоверен основными положениями православия.

– Можно такой проект считать вариантом христианского социализма?

– Нет. Я не верю в христианский социализм. Это сладкая селёдка. Достоевский чётко сказал: социализм не прав, потому что есть Бог… Добавить нечего. А если Бога нет, тогда прав социализм. Ещё раз повторю: если Бога нет, то единственная правда на земле у социализма. Всё остальное не право…

– Вот почему они и воюют с Богом. Дабы оказаться правыми. Но сегодня с Богом воюют не столько социалисты, сколько наши правые либералы. Как ты думаешь, сегодня в душах русских людей есть Бог? Или мы настолько уже наказаны Богом за свои грехи, что у нас нет будущего?

– В течение семидесяти лет было выстроено для людей НАДБОГОУБЕЖИЩЕ, через которое почти невозможно было пробиться к Богу. Увы, в значительной части нашего народа сегодня нет места вере… Но есть уже тяга, тенденция, нескрываемый интерес. Движение в сторону Бога.

– Ну а что бы ты, Леонид, выбрал из двух безбожных вариантов: социалистическую Россию или нынешнюю коррумпированную Россию?

– Как говорится – оба хуже. Коммунизм был запрограммирован на саморазрушение. Мы подорвались на праве наций на самоопределение. Но многие до сих пор не понимают, что мы подорвались на атеизме. Это главная мина, которая и взорвала государство. Ни у одного народа не отнимали на семьдесят лет его тысячелетнюю национальную религию. Поэтому даже не с кем сравнивать. Сегодня у нас состояние смуты. А смута – это и есть повреждение пониманий. Смута XVII века не затронула православие. Безусловно, ей предшествовали ереси того времени, но всё-таки основная часть народа оставалась православной. Перелом той смуты наступил не с Мининым и Пожарским, а намного раньше, когда присягнули польскому королевичу Владиславу. Присягнули единому закону. Кончилась эпоха самозванцев. Владислав был представителем мировой династии, он обещал принять православие, и русский народ не виноват в том, что он оказался мошенником. Он присягал уже как бы законному государю.

– Может быть, и сейчас присягают Путину в надежде на конец смуты, а не только корысти ради?

– Я это и имею в виду. Могу допустить, что сейчас мы имеем дело с феноменом Владислава.

– Только сумеет ли он отделиться от своего Сигизмунда-Ельцина?

– Народ проголосовал за тот образ, который ему подали, и он должен ему в какой-то мере соответствовать. Ведь каждого лидера раскручивали по-своему. И народ проголосовал за подачу именно такого, державного, боевого образа. Другое дело, насколько он способен соответствовать приглянувшемуся народу образу... Представляю, в каком он окружении и с какими проблемами столкнулся. В какую ужасающую реальность окунулся… Через какие компромиссы он должен проходить…

– Может быть, когда он сумеет пройти все компромиссы, от России уже ничего не останется?

– Может быть… Но я оптимист.

(окончание беседы на стр.8)

Алёша Карамазов

Наступит день...
пусть будет он не сразу...
Я с этим днем все думы примирил!
В наш мир придёт Алёша Карамазов!
Его нам русский гений подарил!
Придёт, как совесть новых поколений,
Как искупленье – молодая Русь!

И вместе с ним я встану на колени
И за отцов и дедов помолюсь!
Могил российских не окинуть глазом!
Сушить нам слёзы – не пересушить!
Но если жив Алеша Карамазов,
То как же Родине моей не жить!

Леонид БОРОДИН

К 150-летию Максима Горького

Несвоевременный современник

Валентин КУРБАТОВ

"У нас интеллигенция, в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие – Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или, вернее, Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьева, то, значит, вы были равнодушны к конституции и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие". Это из Нины Берберовой, ее "Курсива". Что тут скажешь? Только вздохнешь и захлопнешь книгу с досадой, словно это она виновата, что десятилетия идут, а мы всё по-детски выбираем "бочку с салом или казака с кинжалом", не умея допустить мысли, что оно бы и то, и другое не помешало.

При этом у нас возможны метаморфозы, при которых человек может быть переселен волей общественного мнения из одной "графы" в другую, так что вчера мракобесием было не чтить его, а сегодня…

Я говорю не о государственных деятелях России. Они автоматически со смертью проваливаются в какие-то исторические отстойники, откуда неосмеянным выбраться невозможно (храни, Господь, наших детей и близких от вершин власти!). Но ведь мы научились и с культурой так. В особенности в несчастные пореволюционные годы. И тут первое имя и величайшая жертва – Горький. Как застеснялись его в школьных и институтских программах! Те, кто властен над такими программами, с тонкими усмешками вытеснили его из литературы в общественные деятели, брезгливо, даже без особенной заботы об аргументации, оболгали и похоронили в "братской могиле" с РАППовцами (которых он разогнал), с Ягодой, Лениным и Сталиным.

Солженицын припечатал его за благословение трудовых лагерей, дружный хор советских писателей, прокормившихся при Союзе без печали до пенсии, – за создание Союза писателей, литературоведы, поднаторевшие в трудах по социалистическому реализму, – за изобретение этого реализма, не взяв труда прочитать хотя бы Ю.Анненкова, который звал это утверждение "клеветой" и уверенно доказывал это в своем "Дневнике".

Кто теперь книжки читает? Достаточно тонкой усмешки при имени. Ох, эти усмешки! Сразу Константина Леонтьева вспоминаю, когда он говорит о мастерах такой "гнусной тонкости": "…теперь, когда я вижу у других эту тонкость, я не бью в морду одних – только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, а других, которые не страшны, не бью потому, что не хочу судиться у мирового судьи… Но что я чувствую! О Боже!..".

Вот и я в таких случаях давлюсь гневом и умираю от бессилия. И непременно, просто поперек этих усмешек, в 150-й день рождения хочу благодарно вспомнить Горького. Никого не призываю делить мое мнение (к старости учишься не бояться одиночества суждений), но для себя хочу сохранить это имя в ряду достойных русской традиции. И не об одной литературе хочу вспомнить, а чтобы говорить с противниками на нежелательных им полях, более именно о его "человечестве", которое оказалось взято под подозрение.

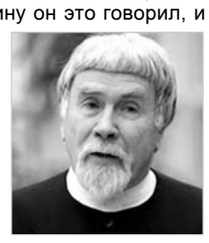
Литератора в нём корили все. Многие, как Нина Берберова, – не читая. Она говорила об этом честно. И, может быть, поэтому особенно без помех видела и писала его обиход, его пеструю повседневность, оставляя в "Курсиве" и "Железной женщине" живой, печальный, обаятельный образ человека, который "доверял и любил доверять" и которого поэтому "обманывали многие: от повара итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина, все обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей" и спровадившего его с глаз долой за границу.

Мнение Берберовой тем интересней, что она сама вполне "железна" и всегда умела взвешивать добродетели и пороки своих современников, как будто жила не среди людей, а сквозь них или по касательной, с вечно обернутым наружу зрением, ни разу не впустив их в себя и до слиянности не входя в них сама. И вот этот-то неустанный хищный наблюдатель умел при этом заметить только те слабости, которые были извинительны и в малом человеке, а в большом почти уже не слабости, а способ художественного существования – это желание немножко порисоваться перед незнакомым человеком, обнять его игрою ума, эти частые слезы при чтении ли Бунина, при известии о смерти Чехова, а то и при слушании плохих стихов.

Умные люди умели это понять. Ходасевич вспоминает, что, разобравшись в оплаканном, он часто "сам же его бранил… Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность его творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души". Нынешние господа хулители часто ловят эти низости, чтобы воздвигнуть на них свою пошлую аргументацию. Вот и языков-то Горький ни одного не выучил – экий простофиля! И образование-то у него – несколько недель. А пустяковой мысли в голову прийти не могло, что оттого и не выучил, что времени было жаль на механическую работу, тогда как можно было прочесть столько прекрасного. Виктор Шкловский роняет по поводу этого чтения: "книги, которых он прочел так много, как только может прочесть самоучка", – и отлично видит его слабости: "Горький обременен количеством так, как старая Россия во время войны была обременена двенадцатимиллионной армией". Но тот же Шкловский нашёл для него замечательный образ в толстовском рассказе про черемуху – "эту черемуху рубили и топтали, а она все выкидывала в сторону побеги и цвела". И итогом своего всепонимания выводил единственное: "Я нежно и верно люблю Горького".

Кажется, это общее чувство, соединяющее все воспоминания, – любовь. Или вот такая, как у Шкловского, Берберовой, Ходасевича, – с чувством дистанции, с полнотой зрячести, "не забывая себя", или как у Анастасии Цветаевой – взахлёб, без никакой слабости, не позволяя себе увидеть ее, когда книги велики, и нет этого опасливого, не доверяющего себе разделения на писателя и человека: "Алексей Максимович, я Вас ужасно люблю! А говоря языком современности – все "ориентирую" на Вас: каждый луч на московском булыжнике и человека, которого мне дарит… жизнь".

Да ведь если и вообще-то о творчестве: кто бы как ни корил и "буревестников" в строку не ставил, а горьковские воспоминания о Толстом все безусловно считали великими. А "На дне"-то вспомните! А "Детство"! Сам же он как раз цену себе знал, и можно твердо сказать, что без всякого кокетства говорил Михаилу Пришвину: "…парнишка я бойкий, а таланта у меня мало". Не одному Пришвину он это говорил, и все остро запомнили (вон и Замятин отметил), – видно, было ново и непривычно слышать. Да и то – кто это из нынешних, даже и копеечного калибра, позволит усомниться в себе? И кто так легко забудет себя для хлопот о другом, совсем чужом, даже и враждебном по эстетике и миропониманию, станет о каких-нибудь юных Лунцах хлопотать или пестовать Маяковских, которые завтра выставят твою любовь на посмешище. И кто знает, не потому ли такой уже привычно посрамляемый за рыхлость "Клим Самгин" и остался невыстроенным и неоконченным, что на свое детище времени уже не хватало.



Сколько он написал одних писем! Пуды и пуды! И что за письма! И кому? Ромену Роллану, Герберту Уэллсу, Стефану Цвейгу, Бернарду Шоу, где надо было ни атомом не уступить тонким европейцам, стилистам, мыслителям, которые всякую строчку на свет поглядят и на зуб попробуют. "Все эти иностранцы Ролланы и Барбюсы и раздвижной Анатоль Франс с иронией букиниста не знают, какого великого современника они могли бы иметь" (Виктор Шкловский). А письма Толстому, Бунину, Шмелеву – это уж и интонация другая, и мысль, и мир, и сердце. А Клименту Тимирязеву, Фритьофу Нансену – куда это все? И как поместить в одну судьбу? Не мудрено, что Корней Чуковский никак не может расположить в сознании, откуда у Горького столько сведений о мировой культуре, что и профессора, спасаемые им во "Всемирной литературе" от голода, "только опускают глаза, как школьники, не выучившие урока". Защищаясь от этого непонимания, Чуковский, наконец, решает, что "эта огромная и поражающая эрудиция" сводится к вере "в заглавие, в реестр, в каталог", но умудряется как-то пропустить мимо сознания, что все эти "заглавия, реестры, каталоги" проштудированы от корки до корки.

Как угодно зови, а, похоже, он действительно "смотрел на жизнь восемью или больше глазами, равномерно расположенными вокруг головы", как писал тот же Шкловский. И как верно это общеотмечаемое виртуозное владение устным рассказом – всегда богаче письменного. Это свойство именно народного дара, из того земного истока, откуда русские песни текут.

Поневоле мне часто Виктор Петрович Астафьев вспоминается, как-то сам собой проступает как сквозь промокательную бумагу. Даже и вот эта поражающая воображение память и эта неутомимая страсть знать и ворочать тонны книг. Эти бы подружились или уж разругались – так в пух и перья – как миргородские близнецы.

И как дорого и редко нынче это, снисходительно отмечаемое Берберовой, "викторианское чувство стыда" в Горьком за всякую пошлость и непристойность, за "оборотную сторону" жизни, которую по его твердому старомодному мнению, надо было скрывать. Не за это ли он, любивший все, так открыто не любил Достоевского, не за тайны ли, которые должны быть скрыты? На нынешний "свободный" взгляд это дикость и провинциализм. Когда же и выволочь человека в исподнем на свет Божий, как не сейчас, когда же и поглумиться всласть над тем, как он жалко устроен и сколько у него стыдных отправлений.

Только кажется мне, что чаще это делается сытыми людьми из благополучного быта. А кто этот самый "оборот" повидал во всем беспощадном многообразии, тот как раз лучше знает, что узорчато написанная низость не убавляет зла в мире, а прибавляет его, искушает и провоцирует. Да только до кого сейчас с этим докричишься? И кому втолкуешь, что Горький шире и дальше несчастной фразы: "Если враг не сдается, его уничтожают", что спасенное им из ЧК человечество могло заселить небольшую умную державу. А уж когда тирану понадобится лозунг, он найдет его и у святого. У Замятина есть такие дорогие слова: "Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих "перегибов" в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры – было результатом этих дружеских бесед (со Сталиным. – *В.К.*).

Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии". Я поглядел на дату замятинского слова – 1936. В этом году Горького не стало. Случайно ли его не стало перед страшным 1937-м? Не потому ли, что год этот уже нужен был деспотии, а писатель мешал. Мешал теперь Сталину, как прежде Ленину. Как Томас Манн когда-то писал, что, будь жив Толстой к началу Первой мировой войны, она бы не началась – стыдно было бы перед этим человеком.

Вот и тут стыдно было бы. А Сталин этого "викторианского" чувства не любил. И Горькому пришлось "умереть"…

Конечно, была в запасе еще возможность шельмования. Извлеки Сталин на свет Божий "Несвоевременные мысли" – и вот готовый "враг народа". Но искусству шельмования вождь как следует научится позднее. И, к сожалению, научит и нас. Ведь это мы сами сократили огромное наследие писателя до романа "Мать" и роковой фразы о "несдающихся врагах", чтобы удобнее было вывести слишком заметную фигуру во второстепенные, сосчитали количество квадратных метров занятого им особняка и оценили стоимость его коллекций.

Пошлость опять победила в нас. Мы опять ничему не научились и, как тогда гнали свою лучшую мысль балтийским пароходом за границу, так теперь со слепой безрассудностью "сплавляем" новые жертвы Летой в небытие. По-прежнему, если любишь Булгакова и Платонова, то любить Горького – значит уже противиться "демократическим реформам" и кончить "мракобесием".

Скучно жить на этом свете, господа.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

К 80-летию Леонида БОРОДИНА *(1938-2011)*: "Считаю себя русистом" (*беседовал Владимир Бондаренко; из архива газеты 2002 года);* Валентин Курбатов "Несвоевременный современник" *(к 150-летию Максима Горького)*.

ПОЛЕМИКА: Виктор Сбитнев "Приоритеты очевидные и невероятные" *(к инаугурации Путина);* Андрей Канавщиков "Недокошмаренные" *(к причинам Кемеровской трагедии)*.

КРИТИКА: Владимир Подлузский "Хлеб Бывалого" *(о романе Николая Олькова "Хлеб наш насущный");* Сергей Белов "За пять минут до ядерной полуночи" *(об одноимённом романе Александра Витковского)*; Николай Переяслов "Султанам тоже снится родина" *(о романе Олега Этлухова "Звёзды над Каиром");* Князь Гочаг "Штрихи к портрету героя" *(о книге Вячеслава Ар-Серги "Звезда моя горит высоко…")*.

ФОРУМ МОЛОДЫХ: Ирина Иваськова "Бумажный саксофон" *(рассказ)*; Анастасия Чернова "Яркий цветной узор" *(о рассказе Ирины Иваськовой);* Михаил Тарковский "Мать Елена" *(о прозе Елены Тулушевой)*.

ПОЭЗИЯ: Николай Беседин, Сергей Зубарев, Светлана Леонтьева *(стихи)*.

ИНФОРМБЮРО: Союз писателей России информирует.